

НА ЯЗЫКЕ ВРАГА

Александр Кабанов

Александр Кабанов

safari

НА ЯЗЫКЕ ВРАГА

СТИХИ О ВОЙНЕ И МИРЕ

с а ф а р и



FOLIO

Александр Михайлович Кабанов
На языке врага:
стихи о войне и мире
Серия «Сафари»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25922396

*На языке врага / Александр Кабанов; худож.-оформитель В. Хлопенко.:
Фолио; Харьков; 2017*

ISBN 978-966-03-5477-7, 978-966-03-7826-1

Аннотация

Александр Кабанов (р. 1968 году в городе Херсоне) – украинский поэт, живущий и работающий в Киеве, пишущий на русском языке. Автор 10-ти книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», «Арион», «Новая газета», «Литературная газета» и др.

Лауреат «Русской премии», премии «Antologia» – за высшие достижения в современной поэзии, премии журнала «Новый мир», Международной Волошинской премии и др. Его стихи переведены на финский, сербский, польский, грузинский и др. языки.

Александр Кабанов – главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного

фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма.

«На языке врага: стихи о войне и мире» – одиннадцатая книга Александра Кабанова. В нее вошли новые стихотворения, написанные в 2014–2017 гг., а также избранные тексты из сборника «Волхвы в планетарии» (вышла в издательстве «Фолио» в 2014 г.).

Ключевой смыслообразующий тезис новой книги поэта: «Язык не виноват. Всегда виноваты люди...»

Кроме сборника «Волхвы в планетарии», в издательстве «Фолио» были изданы книги «Весь» (2008) и «Нарру бездна to you» (2011).

Содержание

Выход из котла	8
«Вдоль насыпи – тепло и сухо...»	8
«Снилось мне, что я умру...»	9
«Наш президент распят на шоколадном кресте...»	11
«Война предпочитает гречку...»	13
«Говорят, что смерть – боится щекотки...»	14
Поминальная	16
«И однажды, плененному эллину говорит колорад-иудей...»	18
«Это – пост в фейсбуке, а это блокпост – на востоке...»	20
«Как темнота от фонаря...»	21
Острое	23
«И чужая скучна правота, и своя не тревожит, как прежде...»	25
«Этот гоблинский, туберкулезный...»	27
Негрушкин	28
«Тишина выкипает, как чайник с большим свистком...»	29
Чистилище	30
Инструкция	31
«А когда пришел черед умирать коту...»	32

«Солнцем снег занесло: каждый метр – солдатский, погонный...»	33
«Я понимал: избыточность – одно...»	35
«То иссохнет весь, то опять зацветет табак...»	36
«Был четверг от слова «четвертовать»...»	37
«Он пришел в футболке с надписью: «Je suis Христос»...»	38
«О том, что мыло Иуды Искарюта...»	39
«На Днепре, в гефсиманском саду...»	41
«Мне такая сила была дана...»	42
«Как запретные книги на площади...»	43
«Я люблю – подальше от греха...»	45
2041	46
«Как зубная паста: еле-еле...»	48
Черный вареник	49
БЭТМЕН САГАЙДАЧНЫЙ	51
«У первого украинского дракона были усы...»	52
Боевой гопак	54
МАНТРЫ – МАНДРЫ	56
«Янтарь гудел, гудел и смолк...»	57
«Страх – это форма добра...»	58
СЕРАЯ ЗОНА	59
«Оглянулась, ощерилась, повернула опять налево...»	60
«Пастырь наш, иже еси, и я – немножко еси...»	61

№ 10101968	63
Тесты	65
«Я споткнулся о тело твое и упал в дождевую...»	66
Выход из котла	67
«Хьюстон, Хьюстон, на проводе – Джигурда...»	69
«Между крестиков и ноликов...»	71
«Капли крови отыграли там и тут...»	72
«Спиннинг, брошенный, спит...»	73
Рождественское	74
«Отгремели русские глаголы...»	76
«Звенит карманная медь, поет вода из трахей...»	77
Обыск	78
«С молодых ногтей был увлечен игрой...»	79
«Бегут в Европу черные ходоки...»	81
«Человек засиделся в гостях...»	82
Спасение	83
Открытка	84
«За окном троллейбуса темно...»	85
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Александр Кабанов

На языке врага

Серия «Сафари» основана в 2005 году

Художник-оформитель *Владимир Хлопенко*

В оформлении обложки использовано фото *Сергея Каревского*

Выход из котла

Язык не виноват. Всегда виноваты люди.

«Вдоль насыпи – тепло и сухо...»

Вдоль насыпи – тепло и сухо,
вдыхая воздух, как пластид —
ползет отрезанное ухо,
дырявой мочкою свистит.

Ползет сквозь шишел через мышел,
видать – на исповедь, к врачу:
нет, это – нас Луганск услышал,
нет, это – нас Донецк почув.

«Снилось мне, что я умру...»

К.А.

Снилось мне, что я умру,
умер я и мне приснилось:
кто-то плачет на ветру,
чье-то сердце притомилось.

Кто-то спутал берега,
как прогнившие мотузки:
изучай язык врага —
научись молчать по-русски.

Взрывов пыльные стога,
всходит солнце через силу:
изучай язык врага,
изучил – копай могилу.

Я учил, не возражал,
ибо сам из этой хунты,
вот чечен – вострит кинжал,
вот бурят – сымает унты.

Иловайская дуга,
память с видом на руину:
жил – на языке врага,

умирал – за Україну.

«Наш президент распят на шоколадном кресте...»

Наш президент распят на шоколадном кресте:
82 % какао, спирт, ванилин, орехи,
вечность – в дорожной карте, смерть – в путевом листе,
только радиоволны любят свои помехи.

Будто бы все вокруг – сон, преходящий в спам:
ржут карусельные лошади без педалей,
вежливые гармошки прячутся по кустам,
топчутся по костям – клавишам от роялей.

Здесь, на ветру трещат в круглом костре углы,
здесь, у квадратной воблы – вся чешуя истерта,
и, несмотря на ад, снятся ему котлы,
плач и зубовный скрежет аэропорта,

голос, рингтон, подобный иерихонской трубе,
только один вопрос, снимающий все вопросы:
«Петя, сынку, ну что – помогли тебе,
ляхи твои, твоя немчура и твои пиндосы?»

Наша война еще нагуливает аппетит,
мимо креста маршируют преданные комбаты,
но, Петр поднимает голову и победно хрипит:

«82 % какао, спирт, ванилин, цукаты...»

«Война предпочитает гречку...»

Война предпочитает гречку,
набор изделий макаронных:
как сытые собаки в течку —
слипаются глаза влюбленных.

Предпочитает хруст печенья
и порошок в вкус омлета,
и веерные отключенья
от милосердия и света.

И будет ночь в саперной роте,
когда, свободные до завтра,
как в фильме или в анекдоте —
вернутся взрослые внезапно.

Они не потревожат спящих,
хозяин дома – бывший плотник,
Господь похож на черный ящик,
а мир – подбитый беспилотник.

Нас кто-то отловил и запер,
прошла мечта, осталась мрiя,
и этот плотник нынче – снайпер,
и с ним жена его – Мария.

«Говорят, что смерть – боится щекотки...»

Говорят, что смерть – боится щекотки,
потому и прячет свои костлявые пятки:
то в смешные шлепанцы и колготки,
то в мои ошибки и опечатки.

Нет, не все поэты – пиздострадальцы, —
думал я, забираясь к смерти под одеяльце:
эх, защекочу, пока не сыграет в ящик,
отомщу за всех под луной скорбящих —
у меня ведь такие длиинные пальцы,
охуенно длинные и нежные пальцы!

Но, когда я увидел, что бедра ее – медовы,
грудь – подобна мускатным холмам Кордовы,
отключил мобильник, поспешно задернул шторы,
засадил я смерти – по самые помидоры.

...Где-то на Ukraine, у вишневом садочку —
понесла она от меня сына и дочку,
в колыбельных ведрах, через народы,
через фрукты-овощи, через соки-воды...

Говорят, что осенью – Лета впадает в Припять,

там открыт сельмаг, предлагая поесть и выпить,
и торгуют в нем – не жида, ни хохлы, не йети,
не кацапы, не зомби, а светловолосые дети:

у девчонки – самые длинные в мире пальцы,
у мальчишки – самые крепкие в мире яйца,
вместо сдачи, они повторяют одну и ту же фразу:
«Смерти – нет, смерти – нет,
наша мама ушла на базу...»

2011

Поминальная

Многолетний полдень, тучные берега —
не поймешь: где пляжники, где подпаски,
по Днепру сплавляют труп моего врага —
молодого гнома в шахтерской каске.

Пешеходный мост опять нагулял артрит,
тянет угольной пылью и вонью схрона,
и на черной каске врага моего горит —
злой фонарь, багровый глаз Саурана.

Середина киевского Днепра,
поминальная – ох, тяжела водица,
и на тело гнома садится его сестра —
очень редкая в нашем районе птица.

Донна Луга – так зовут ее в тех краях,
где и смерть похожа на детский лепет,
вся она, как будто общество на паях:
красота и опухоль, рак и лебедь.

Вот и мы, когда-нибудь, по маршруту Нах,
вслед за ними уйдем на моторных лодках,
кто нас встретит там, путаясь в именах:
жидо-эльфы в рясах, гоблины в шушунах,
орки в ватниках, тролли в косоворотках?

«И однажды, плененному эллину говорит колорад-иудей...»

И однажды, плененному эллину говорит колорад-иудей:
«Я тебя не прощаю, но все же – беги до хаты,
расскажи матерям ахейским, как крошили мы их детей,
как мы любим такие греческие салаты.

Расскажи отцам, что война миров, языков, идей —
превратилась в фарс и в аннексию территорий,
вот тебе на дорожку – шашлык и водка из снегирей,
вот тебе поджопник, Геракл, или как там тебя,
Григорий...»

...За оливковой рощей – шахтерский аид в огне,
и восходит двойное солнце без балаклавы,
перемирию – десять лет; это кто там зигует мне,
это кто там вдали картавит: «Спартамцам слава!»?

«Гиркинсону, шалом!» – я зигую ему в ответ,
возвращаюсь в походный лагерь, на перекличку,
перед сном, достаю из широких штанин – планшет,
загружаю канал новостей, проверяю личку.

Там опять говорит и показывает Христос:
о любви и мире, всеобщей любви и мире,

как привел к терриконам заблудших овец и коз,
как, вначале, враги – мочили его в сортире,
а затем, глупцы – распяли в прямом эфире,
и теперь, по скайпу, ты можешь задать вопрос.

«Это – пост в фейсбуке, а это блокпост – на востоке...»

Это – пост в фейсбуке, а это блокпост – на востоке,
наши потери: пять забаненных, шесть «двухсотых»,
ранены все: укропы, ватники, меркель, строки,
бог заминирован где-то на дальних высотах.

Это лето – без бронжилета, сентябрь – без каски,
сетевой батальон «Кубань» против нашей диванной
сотни,

я тебе подарю для планшета чехол боевой окраски,
время – это ушная сера из подворотни.

Что, в конце концов, я сделал для этой малышки:
теребил курсором ее соски, щекотал подмышки?
Ведь она – так хотела замуж, теперь – в отместку:
отсосет военкому и мне принесет повестку.

Да пребудут благословенны: ее маечка от лакосты,
скоростной вай-фай, ваши лайки и перепосты,
ведь герои не умирают, не умирают герои,
это – первый блокпост у стен осажденной Трои.

«Как темнота от фонаря...»

Как темнота от фонаря —
живет одна в сухом остатке,
и солнцу, в августе, не зря
приходят мысли о закатке.

Не зря любил тебя, не зря
слепец, почуявший измену,
я уходил в ночную смену,
подняв рогами якоря.

О, как жестоко и по-детски
мы сглазили поводыря,
и скольких мы, не зря, в Донецке
убьем, и нас убьют – не зря.

Схоронят звезды и медали
под деревянное пальто,
а ведь – не зря Христа распяли,
ведь, если б не распяли, что:

лежал бы на плацкартной полке,
хрустя отравленной мацой,
писал стихи, и в черной «Волге»

разбился бы, как Виктор Цой.¹

¹ Виктор Цой разбился на автомобиле «москвич». На черной «Волге» ездили при «совке» иерархи православного духовенства. Цою – «москвич», Христу – «Волга», кесарю – кесарево.

Острое

От того и паршиво, что вокруг нажива,
лишь в деревне – тишь да самогон в бокале,
иногда меня окликают точильщик Шива
и его жена – смертоносная Кали:
«Эй, чувак, бросай дымить сигареты,
выноси на двор тупые предметы...»

Так и брызжет слюною точильный круг,
оглянись, мой друг:
у меня не дом, а сплошные лезвия-бритвы,
вместо воздуха – острый перец, постель – в иголках,
а из радио – на кусочки рваные ритмы,
да и сам я – весь в порезах, шрамах, наколках.
Если что и вынести, то вслепую —
эту речь несвязную, боль тупую.

Так пускай меня, ай нэ-нэ, украдут цыгане,
продадут в бродячий цирк лилипутов,
буду ездить пьяненьким на шарабане,
всё на свете взрослое перепутав.
Воспитают заново, как младенца,
завернут в наждачные полотенца,
вот он – ослепительный Крибле-Крабли:
руки – ножницы, ноги – кривые сабли.

2009

«И чужая скучна правота, и своя не тревожит, как прежде...»

И чужая скучна правота, и своя не тревожит, как прежде,
и внутри у нее провода в разноцветной и старой одежде:
желтый провод – к песчаной косе, серебристый – к звезде
над дорогой,
не жалея, перекусывай все, лишь – сиреневый провод не
трогай.

Ты не трогай его потому, что поэзия – странное дело:
все, что надо – рассеяло тьму и на воздух от счастья
взлетело,
то, что раньше болело у всех – превратилось в сплошную
щекотку,
эвкалиптовый падает снег, замедая навеки слободку.

Здравствуй, рваный, фуфаечный Крым, полюбивший²
империю злую,
над сиреневым телом твоим я склонюсь и в висок
поцелую,
Липнут клавиши, стынут слова, вот и музыка просит
повтора:
Times New Roman, ребенок иа., серый волк за окном

² потерявший (вариант в 2005-м)

монитора.

2005, 2014

«Этот гоблинский, туберкулезный...»

Этот гоблинский, туберкулезный
свет меняя – на звук:
фиолетовый, сладкий, бесслезный —
будто ялтинский лук.

В телящике, в телемогиле,
на других берегах:
пушкин с гоголем Крым захватили,
а шевченко – в бегах.

И подземная сотня вторая
не покинет кают,
и в тюрьме, возле Бахчисарая —
макароны дают.

Звук, двоясь – проникает подкожно:
чернослив-курага,
хорошо, что меня невозможно
отличить от врага.

Негрушкин

Двух пушкиных, двух рабов подарила мне новая власть:
о, чернокожий русский язык, к чьим бы губам припасть?
Хан Гирей любил снегирей, окруженный тройным
эскортом,
хан Гирей – гиревым занимался спортом,
говорил: чем чаще сжигаешь Москву, тем краше горит
Москва,
чуешь, как растет в глубину нефтяная сква?

Так же чёрен я изнутри – от зубного в кровь порошка,
снился мне общий единорог с головой ляшка.
Двух рабов пытаю огнем: вот – Кавафис, а вот – Целан,
кто из вас, чертей, замыслил побег, воскуряя план?

Как по очереди они умирали на дуэли и в пьяной драке —
подле черной речки-вонючки, в туберкулезном бараке.
Хан Гирей говорил, очищая луковицу от шелухи:
в песне – самое главное – не кричать,
в сексе – самое главное – не кончать.
Если бы все поэты – не дописывали стихи.

«Тишина выкипает, как чайник с большим свистком...»

Тишина выкипает, как чайник с большим свистком,
Тишинидзе не знал, что сахар – зовут песком,
Тишинюк позабыл заварку в мотне кальсон,
но, за всех ответят – коварный Пушкин и Тишинсон.

Тишинявичус сеет шпроты на черный хлеб,
как любить варенье, которое раньше еб?
Вот проснулся ветер и клонит деревья в сон:
но, за всех ответят кровавый Путин и Тишинсон.

Не война – войня, отцветает в полях бурьян,
помянем друг друга под твой коньяк, Тишинян,
сохнут радиоволны от суффиксов до морфем,
но, за всех ответит двуликий Сайленс FM-FM.

Покосились окна – и без окладов, и без оправ,
оказалось: Дзержинский – прав и Бжезинский – прав,
мы учились, авве, рассчитывать на авось:
чтобы это – быстрее кончилось, началось.

Чистилище

Этот девственный лес населяют инкубы,
а над ним – кучевые венки,
и у звезд выпадают молочные зубы:
вот такие дела, старики.

Дикий воздух гудел, как пчелиные соты,
где природа – сплошной новодел,
я настроил прицел и, сквозь эти красоты —
на тебя, моя радость, глядел.

Вот инкуб на суку пустельгу обрюхатил,
опускается ночь со стропил:
жил на свете поэт, украинский каратель —
потому, что Россию любил.

Инструкция

Фотографируй еду
перед тем как с нею
фотографируй еду
станет она вкуснее

Фотографируй ну
жник в котором люди
нам подают войну
будто пейзаж на блюде

эти бинты и йод
не просыхают с мая
может и смерть пройдет
кадры свои спасая

Фотографируй срез
времени в черно-белом
чей там зубной протез
щерится под обстрелом

Сквозь гробовую щель
фотографируй лица
о жена моя вермишель
гречка моя сестрица.

«А когда пришел черед умирать коту...»

А когда пришел черед умирать коту —
я купил себе самую лучшую наркоту:
две бутылки водки и закусь – два козинака,
и тогда я спросил кота —
что же ты умираешь, собака?

Помнишь, как я возил тебя отдыхать в Артек,
мой попугай-хомяк, мой человек,
я покупал тебе джинсы без пуговиц и ремня,
как же ты дальше будешь жить без меня?

«Солнцем снег занесло: каждый метр – солдатский, погонный...»

Солнцем снег занесло: каждый метр – солдатский,
погонный,
золотится зима, принимая отвар мочегонный,
я примерз, как собачий язык примерзает к мертвецкой
щеке,
а у взводного – рот на замке.

Солнцем снег занесло, и торчат посреди терриконов —
то пробитое пулей весло, то опять новогодняя ель,
в середине кита мы с тобой повстречались, Ионов —
и, обнявшись, присели на мель.

А вокруг: солнцем снег занесло вдоль по лестничной
клетке,
и обломки фрегатов напали на наши объедки,
для чего мы с тобою сражались на этой войне,
потому, что так надобно было какой-то гэбне —
донесли из разведки.

Облака поутру, как пустые мешки для котят,
в министерстве культуры тебя и меня запретят:
так и будем скитаться, ходить по киту в недоумках,
постоянно вдвоем, спотыкаясь, по краю стола —

демон жертвенной похоти, сумчатый ангел бухла —
с мочегонным отваром в хозяйственных сумках.

«Я понимал: избыточность – одно...»

Я понимал: избыточность – одно,
а пустота – иная близость к чуду,
но, только лишь за то, что ты – окно,
я никогда смотреть в тебя не буду.

Там, на карнизе – подсыхает йод
и проступает кетчуп сквозь ужастик,
какую мерзость ласточка совет —
в расчете полюбить металлопластик?

Я понимал, что за окном – музей
с халтурой и мазней для общепита,
и вытяжка из памяти моей,
как первое причастье – ядовита:

то вновь раскроют заговор бояр,
то пукнет Пушкин, то соврет Саврасов,
...уходят полицаи в Бабий Яр —
расстреливать жидов и пидарасов,

и полночь – медиатором луны —
лабают «Мурку» в африканском стиле,
я понимал, что люди – спасены,
но, кто тебе сказал, что их простили?

«То иссохнет весь, то опять зацветет табак...»

То иссохнет весь, то опять зацветет табак,
человек хоронит своих котов и собак,
а затем выносит сор из ночных стихов
и опять хоронит рыбок и хомяков.

Вот проснулся спирт и обратно упал в цене,
но уже не горит, как прежде, видать – к войне,
погружая душу на всю глубину страстей —
человек хоронит ангелов и чертей.

К голове приливает мрамор или гранит,
зеленеют клеммы, божественный дар искрит,
человек закрыт на вечный переучет,
если даже срок хранения – истечет.

2013

«Был четверг от слова «четвертовать»...»

Был четверг от слова «четвертовать»:
а я спрятал шахматы под кровать —
всех своих четырех коней,
получилось еще больней.

Вот испили кони баюн-земли,
повалились в клетчатую траву,
только слуги царские их нашли,
и теперь – разорванный я живу.

Но, когда приходят погром-резня,
ты – сшиваешь, клеиваешь меня,
в страшной спешке, с жуткого бодуна,
впереди – народ, позади – страна.

Впереди народ – ядовитый знак,
у меня из горла торчит кулак,
я в подкову согнут, растянут в жгут,
ты смеешься: и наши враги бегут.

«Он пришел в футболке с надписью: «Je suis Христос»...»

Он пришел в футболке с надписью: «Je suis Христос», длинноволосый, но в этот раз – безбородый, у него на шее – случайной розой расцвел засос, у него возникли проблемы с людьми, с природой. Золотую рыбку и черный хлеб превращал в вино, а затем молодое вино превращал в горилку: так ребенок, которому выжить не суждено — на глазах у всех разбивает котика-копилку. Как пустой разговор, отправляется в парк трамвай, светотени от звуков – длинней, холодней, аморфней, но воскрес Пастернак, несмотря на скупой вай-фай, и принес нам дверной косяк, героин и морфий.

«О том, что мыло Иуды Искарриота...»

О том, что мыло Иуды Искарриота —
любило веревку Иуды Искарриота:
а кто-нибудь спрашивал хрупкую шею
предателя и патриота?

О том, что ваши бомжи —
смердят сильнее наших бомжей,
о том, что ваши ножи —
острее бивней наших моржей:
а кто-нибудь спрашивал вшей?

И эта страсть – иголка на сеновале:
ее лобок обрастает верблюжьей хной,
а то, что мы – людей, людей убивали,
никто и не спрашивал: что со мной?

Вдали отгорают хилтоны-мариотты,
восходит месяц с хунтой ниже колен:
сегодня мы – террористы,
а завтра мы – патриоты,
сегодня вы – патриоты,
а завтра – пепел и тлен.

Остановись, почтенный работник тыла,
там, где каштаны цветут в глубине Креста:

во времена Иуды – не было мыла,
да и веревка была бесплодной, петля – пуста.

«На Днепре, в гефсиманском саду...»

На Днепре, в гефсиманском саду,
где бейсбольные биты цветут
и двуглавый орет какаду,
забывая во сне парашют.

Дачный сторож Василий Шумер,
помогая нести чемодан,
говорит, что майдан отшумел,
а какой был по счету майдан?

Маслянистые звезды опят
до утра освещают маршрут,
бездуховные скрепы скрипят
и бейсбольные биты цветут,

и пасутся людские стада
под шансон с подневольных небес:
«Я тебя разлюбил навсегда,
потому, что ты против ЕС...»

«Мне такая сила была дана...»

Мне такая сила была дана,
мне была дана вот такая сила:
окосели черти от ладана,
от призыва смерть закосила.

Я смотрел на звезды через токай:
полночь, время тяни-толкая,
расползаясь по швам, затрещал трамвай,
потому что – сила во мне – такая.

Это сила такая – молчать и плыть,
соразмерный, как мобо дик в мобиле,
ритм ломая, под старость – умерив прыть,
запрещающая всем – чтоб меня любили.

Средь косынок белых – один косын,
почерневший от слез, будто пушкин-сын,
я своей мочой смываю чужое дерьмо,
я теперь – у циклопа в глазу – бельмо.

Мать и мачеха, муженко и гелетей:
революция пожирает своих детей,
революция оправдывает режим
и присматривается к чужим.

«Как запретные книги на площади...»

Как запретные книги на площади
нас сжигают к исходу дня,
и приходят собаки и лошади,
чтоб погреться возле огня.

Нас листает костер неистово,
пепел носится вороньем,
слово – это уже не истина,
это слабое эхо ее.

Словно души наши заброшенные,
наглотавшись холодной тьмы,
к нам приходят собаки и лошади —
видно, истина – это мы.

Нас сжигают, как бесполезные
на сегодняшний день стихи,
но бессильны крюки железные,
не нащупавшие трухи.

Пахнет ветер горелой кожей —
до закатанных рукавов,
мы не мало на свете прожили:
для кого, мой друг, для кого?

Наши буковки в землю зяблую
сеет ветер, но это он —
расшатал, от безделья, яблоню,
под которой дремал Ньютон.

Ересь – это страницы чистые
вкровьиздатовских тонких книг,
сеет ветер – взойдет не истина,
а всего лишь правда, на миг.

1991

«Я люблю – подальше от греха...»

Я люблю – подальше от греха,
я люблю – поближе вне закона:
тишина укуталась в меха —
в пыльные меха аккордеона.

За окном – рождественский хамсин:
снег пустыни, гиблый снег пустыни,
в лисьих шкурках мерзнет апельсин,
виноград сбегает по холстине.

То увянет, то растет тосква,
дозревает ягода-обида:
я люблю, но позади – Москва,
засыпает в поясе шахида.

Впереди – Варшава и Берлин,
варвары, скопцы и доходяги,
и курлычет журавлиный клин
в небесах из рисовой бумаги.

Мы – одни, и мы – запрещены,
смазанные кровью и виною,
все мы вышли – из одной войны,
и уйдем с последнею войною.

2041

На премьерe, в блокадном Нью-Йорке,
в свете грустной победы над злом —
черный Бродский сбегает с галёрки,
отбиваясь галерным веслом.

Он поет про гудзонские волны,
про княжну (про какую княжну?),
и облезлые воют валторны
на фанерную в дырках луну.

И ему подпевает, фальшивя,
в високосном последнем ряду,
однорукий фарфоровый Шива —
старший прапорщик из Катманду:
«У меня на ладони синица —
тяжелей рукояти клинка...»

...Будто это Гамзатову снится,
что летят журавли табака.
И багровые струи кумыса
переполнили жизнь до краев,
и ничейная бабочка смысла
заползает под сердце мое.

2009

«Как зубная паста: еле-еле...»

Как зубная паста: еле-еле
выползает поезд из туннеля,
а вокруг – поля, полишинели,
и повсюду – первое апреля.

Длинный, белый, санитарный поезд,
а вокруг – снега лежат по пояс,
паровозный дым, как будто холка,
первое апреля, барахолка.

Древняя библейская дорога:
а над богом нет другого бога,
спят на полках – сморщенные дети,
все мои монтекки-капулетти.

А над богом нет другого бога
и не оправдать мою потерю,
ночь темней, чем зад единорога:
Станиславский, я тебе не верю.

Черный вареник

В черной хате сидит Петро без жены и денег,
и его лицо освещает черный-черный вареник,
пригорюнился наш Петро: раньше он працювал в метро,
а теперь он – сельский упырь, неврастеник.

Перезревшая вишня и слишком тонкое тесто —
басурманский вареник, о, сколько в тебе подтекста, —
окунешься в сметану, свекольной хлебнешь горилки,
счастье – это насквозь – троеточие ржавой вилки.

Над селом сгущается ночь, полнолуние скоро,
зацветает волчья ягода вдоль забора,
дым печной проникает в кровь огородных чучел,
тишина, и собачий лай сам себе наскучил.

Вот теперь Петро улыбается нам хитро,
доставайте ярый чеснок и семейное серебро,
не забудьте крест, осиновый кол и святую воду...
превратились зубы в клыки, прячьтесь бабы и мужики,
се упырь Петро почуял любовь и свободу.

А любовь у Петра – одна, а свободы – две или три,
и теперь наши слезы текут у Петра внутри,
и теперь наши кости ласкает кленовый веник,
кто остался в живых, словно в зеркало, посмотри —

в этот стих про черный-черный вареник.

2010

БЭТМЕН САГАЙДАЧНЫЙ

«Новый Lucky Strike» – поселок дачный, слышится
собачий лайк,
это едет Бэтмен Сагайдачный, оседлав роскошный байк.
Он предвестник кризиса и прочих апокалипсических
забав,
но у парня – самобытный почерк, запорожский нрав.
Презирает премии, медали, сёрбаёт вискарь,
он развозит Сальвадора Даля матерный словарь.

В зимнем небе теплятся огарки, снег из-под земли,
знают парня звери-олигархи, птицы-куркули.
Чтоб не трогал банки и бордели, не сажал в тюрьму —
самых лучших девственниц-моделей жертвуют ему.
Даже украинцу-самураю трудно без невест.
Что он с ними делает? Не знаю. Любит или ест.

2008

«У первого украинского дракона были усы...»

«Не лепо ли ны бяшет, братие, начаты старыми словесы...»

У первого украинского дракона были усы, роскошные серебристые усы из загадочного металла, говорили, что это – сплав сала и кровяной колбасы, будто время по ним текло и кацапам в рот не попало.

Первого украинского дракона звали Тарас, весь в чешуе и шипах по самую синюю морду, эх, красавец-гермафродит, прародитель всех нас, фамилия Тиранозавренко – опять входит в моду.

Представьте себе просторы ничейной страны, звериные нравы, гнилой бессловесный морок, и вот из драконьего чрева показались слоны, пританцовывающая и трубя «Семь-сорок».

А вслед за слонами, поддатые люди гурьбой, в татуировках, похожих на вышиванки, читаем драконью библию: «Вначале был мордобой... ..запорожцы – это первые панки...»

Через абзац: «Когда священный дракон издох,
и взошли над ним звезда Кобзарь и звезда Сердючка,
и укрыл его украинский народный мох,
заискрилась лагерная «колючка»,

в поминальный венок вплелась поебень-трава,
потянулись вражьи руки к драконьим лапам...»,
далее – неразборчиво, так и заканчивается глава
из Послания к жидам и кацапам.

2008

Боевой гопак

Покидая сортир, тяжело доверять бумаге,
ноутбук похоронен на кладбище для собак,
самогонное солнце густеет в казацкой фляге —
наступает время плясать боевой гопак.

Вспыхнет пыль в степи:
берегись, человек нездешний,
и отброшен музыкой, будто взрывной волной, —
ты очнешься на ближнем хуторе, под черешней,
вопрошая растерянно: «Господи, что со мной?»

Сгинут бисовы диты и прочие разночинцы,
хай повсюду – хмельная воля да пуст черпак,
ниспошли мне, Господи, широченные джинсы —
«шаровары-страус», плясать боевой гопак.

Над моей головой запеклась полынья полыни —
как драконья кровь – горьковата и горяча,
не сносить тебе на плечах кавуны и дыни,
поскорей запрягай кентавров своих, бахча.

Кармазинный жупан, опояска – персидской ткани,
востроносые чоботы, через плечо – ягдташ,
и мобилка вибрирует, будто пчела в стакане...
...постепенно степь впадает в днепровский пляж.

Самогонное солнце во фляге проносят мимо,
и опять проступает патина вдоль строки,
над трубой буксира – висит «оселедец» дыма,
теребит камыш поседевшие хохолки.

2010

МАНТРЫ – МАНДРЫ

На дверях сельсовета оранжевая табличка:
«Все ушли на заработки в Нирвану»,
людям нужен быстрый Wi-Fi, «наличка»,
однополый секс, и я возражать не стану.

Многорукая вишня меня обнимет: чую —
инфракрасные колокольчики зазвенели,
харе Кришна, что я до сих пор кочую,
харе Рама, в гоголевской шинели.

Поворотись-ка, сынку, побудь завмагом:
сколько волшебных мыслей в твоём товаре,
солнце курит длинную булочку с маком,
острые тени двоятся на харе-харе.

Чуден Ганг, но что-то зреет в его пучине,
редкая птица, не отыскав насеста,
вдруг превращается в точку посередине,
обозначая касту этого текста.

«Янтарь гудел, гудел и смолк...»

Янтарь гудел, гудел и смолк:
смола устала от беседы,
и сердце, как засадный полк —
замрет в предчувствии победы.

И отслоится береста —
сползая со стволов обойно,
моя коробушка пуста,
полным-полна моя обойма.

Янтарь истории гудел,
тряслись над кассою кассандры,
а у меня так много тел:
браток, пора менять скафандры.

И к бластеру, и к топору
опять зовет комбат Исая,
да, я – предам тебя – умру,
своим предательством – спасая.

«Страх – это форма добра...»

Страх – это форма добра,
ангельский окорок,
ватная тень от Петра
падает в обморок.

Лысый, усатый, рябой
выпил сливовицы,
и, наконец-то, собой —
мертвым становится.

Тень отпоют воробьи,
вместе с медведками:
ужас, как символ любви,
пахнет объедками.

Близким разрывом ложись
к детям, на полочку:
распределяется жизнь —
всем, по осколочку.

Аэроклей «ПВО»,
Олю слукоило:
стоило это того
или не стоило?

СЕРАЯ ЗОНА

Гражданин соколиный глаз,
я так долго у вас, что ячменным зерном пророс,
и теперь, эти корни – мои оковы,
пригласите, пожалуйста, на допрос
свидетелей Иеговы.

В темной башне, как Стивен Кинг:
тишина – сплошной музыкальный ринг,
роковая черточка на мобильном,
я так долго у вас, что опять превратился в свет,
в молодое вино, в покаяние и минет,
в приложение к порнофильмам.

Гражданин соколиный глаз,
я ушел в запас, если вечность была вчера,
то теперь у нее конечности из резины,
для меня любовь – это кроличья нора,
все мы – файлы одной корзины.

В темной башне – дождь, разошлась вода —
жизнь, обобранная до нитки,
и замыслив побег, я тебе подарил тогда
пояс девственности шахидки.

«Оглянулась, ощерилась, повернула опять налево...»

Оглянулась, ощерилась, повернула опять налево —
в рюмочной опрокинула два бокала,
на лету проглотила курицу без подогрева,
отрыгнула, хлопнула дверью и поскакала.

А налево больше не было поворота —
жили-были и кончились левые повороты,
хочешь, прямо иди – там сусанинские болота,
а направо у нас объявлен сезон охоты.

Расставляй запятые в этой строке, где хочешь,
пей из рифмы кровь, покуда не окосеешь,
мне не нужно знать: на кого ты в потемках дронишь,
расскажи мне, как безрассудно любить умеешь.

Нам остались: обратный путь, и огонь, и сера,
мезозойский остов взорванного вокзала:
чуть помедлив, на корточки возле меня присела,
и наждачным плечом прижалась, и рассказала.

«Пастырь наш, иже еси, и я – немножко еси...»

Пастырь наш, иже еси, и я – немножко еси:
вот картошечка в маслице и селедочка иваси,
монастырский, слегка обветренный, балычок,
вот и водочка в рюмочке, чтоб за здоровье – чок.

Чудеса должны быть съедобны, а жизнь – пучком,
иногда – со слезой, иногда – с чесночком, лучком,
лишь в солдатском звякает котелке —
мимолетная пуля, настоящая на молоке.

Свежая человечина, рыпаться не моги,
ты отмечена в кулинарной книге Бабы-Яги,
но, и в кипящем котле, не теряй лица,
смерть – сочетание кровушки и сальца.

Нет на свете народа, у которого для еды и питья
столько имен ласкательных припасено,
вечно голодная память выныривает из забвения —
в прошлый век, в 33-й год, в поселок Емильчино:

выстуженная хата, стол, огрызок свечи,
бабушка гладит внучку: «Милая, не молчи,
закатилось красное солнышко за леса и моря,

сладкая, ты моя, вкусная, ты моя...»

Хлеб наш насущный даждь нам днесь,
Господи, постоянно хочется есть,
хорошо, что прячешься, и поэтому невредим —
ибо, если появишься – мы и Тебя съедим.

2009

№ 10101968

1.

То ливень, то снег пархатый, как пепел домашних птиц,
Гомер приходит в Освенцим, похожий на Аушвиц:
тройные ряды акаций под током искрят едва —
покуда рапсод лопатой сшивает рванину рва,
на должности коменданта по-прежнему – Менелай,
менелай-менелай, кого хочешь – расстреляй,
просторны твои бараки, игривы твои овчарки,
а в чарках – хватает шнапса, и вот – потекли слова.

2.

Генрих Шлиман с желтой звездой на лагерной робе,
что с тобой приключилось, ребе, оби-ван кеноби,
для чего ты нас всех откопал?
Ведь теперь я уже – не костей мешок, не гнилая взвесь,
я совсем обезвожен, верней – обезбожен весь,
что едва отличаю коран и библию от каббал,
от эрзац-молитвы до причастия из картофельной шелухи:

после Освенцима – преступление – не писать стихи.

3.

На плацу – огромный каменный конь воскрешен вживую:
приглашаются женщины, старики и дети в новую
душевую,

у коня из ноздрей – сладковатые струи дыма —
до последнего клиента, не проходите мимо,
от того и похожа душа моя на колыбель и могилу:
слышит, как они моются, как поют хава-нагилу,
ибо помыслы – разны, а память – единокрова,
для того, чтобы прозреть, а после – ослепнуть снова.

Тесты

Затрудняюсь ответить – зима,
как с трудом проходимые тесты,
и на Банковой снова протесты,
в снежных лифчиках зреет хурма,

доллар нынче торгуют за сотский,
оппозиция ждет похвалы,
и, сбежавший от сепаров, Бродский
засыпает с коробкой халвы.

В снежных лифчиках зреет хурма,
волчье небо укуталось в шубу,
околоточный, склонный к югубу,
надзиратель обходит дома.

Время – чистые помыслы метить,
одинокую ногу задрать,
есть ли бог – затрудняюсь ответить,
как лишенный родительских прав.

«Я споткнулся о тело твое и упал в дождевую...»

Я споткнулся о тело твое и упал в дождевую
лужу с мертвой водой, но еще почему-то живую,
дай мне девичью память – крестильные гвозди забыть,
ты спасаешь весь мир, для того, чтоб меня погубить.

Я споткнулся о тело твое – через ручку и ножку,
в Гефсиманском саду, где шашлык догорал под
гармошку,
дай ворованный воздух – в рихонские трубы трубить:
ты спасаешь весь мир, для того, чтоб меня разлюбить.

Сколько праведных тел у судьбы – для войны и соблазна,
сосчитать невозможно, и каждая цифра – заразна,
дай мне эхо свое, чтоб вернуться, на зов окликаюсь,
или минное поле – гулять, о тебя спотыкаясь.

Выход из котла

Мой глухой, мой слепой, мой немой – возвращались
домой:

и откуда они возвращались – живым не понять,
и куда направлялись они – мертвецам наплевать,
день – отсвечивал передом, ночь – развернулась кормой.

А вокруг – не ля-ля тополя – заливные поля,
где пшеница, впадая в гречиху, наводит тоску,
где плывет мандельштам, золотым плавником шеveledя,
саранча джугашвили – читает стихи колоску.

От того и смотрящий в себя – от рождения слеп,
по наитию – глух, говорим, говорим, говорим:
белый свет, как блокадное масло, намазан на склеп,
я считаю до трех, накрывая поляну двоим.

Остается один – мой немой и не твой, и ничей:
для кого он мычит, рукавом утирая слюну,
выключай диктофоны, спускай с поводков толмачей —
я придумал уют, чтоб загладить чужую вину.

Возвращались домой: полнолуния круглый фестал,
поджелудочный симонов – русским дождем моросся,
это низменный смысл – на запах и слух – прирастал
или образный строй на глазах увеличивался?

Из цикла русско-украинская война

«Хьюстон, Хьюстон, на проводе – Джигурда...»

«Хьюстон, Хьюстон, на проводе – Джигурда...»
...надвигается счастье – огромное, как всегда,
если кто не спрятался, тот – еда.

А навстречу счастью: тыг-дык, тыг-дык —
устремился поезд: «Москва – Кирдык»,
в тамбуре, там-тамбуре проводник
бреет лунным лезвием свой кадык.

Мы читаем Блокова, плакая в купе —
это искупление и т. д., т. п.
«Хьюстон, Хьюстон, на проводе – проводник,
проводник-озорник, головою поник...»

За окном кудрявится, вьется вдалеке —
дым, как будто волосы на твоём лобке,
спят окурки темные в спичечном коробке.

«Хьюстон, Хьюстон, – это опять Джигурда...»
золотой культей направляет меня беда:
«Дурачок, ты – всовываешь не туда,
и тогда я всовываю – туда, туда...»

2011

«Между крестиков и ноликов...»

Между крестиков и ноликов,
там, где церковь и погост:
дети режут белых кроликов
и не верят в холокост.

Сверху – вид обворожительный,
пахнет липовой ольхой,
это – резус положительный,
а когда-то был – плохой.

Жизнь катается на роликах
вдоль кладбищенских оград,
загустел от черных кроликов
бывший город Ленинград.

Спят поребрики, порожики,
вышел месяц без костей:
покупай, товарищ, ножики —
тренируй своих детей.

«Капли крови отыграли там и тут...»

Капли крови отыграли там и тут,
будто это – медиаторы текут,
это – дождь краеугольный моросит
и чеканка ожидания висит.

Севастополь: ветер, вітер в голове,
вновь прорезались шипы на булаве,
если вырастешь и станешь моряком —
ты не трогай эту мову языком:
потому, что украинская земля —
полюбила и убила москаля.

2013

«Спиннинг, заброшенный, спит...»

Спиннинг, заброшенный, спит:
леска сползает с катушки,
и полнолунье сопит —
в черствую дырку от сушки.

Если уснули не все:
люди, зверье и натура,
выйдет гулять по шоссе
наша минетчица Шура.

Лучше не ведать о том,
что она сделает с вами:
русским своим языком,
русскими, напрочь, губами.

Сон, как больная спина
у старика-рыболова,
так засыпает война
и пробуждается снова.

Каждым крючком на блесне,
каждым затворником чую:
нас – разбирают во сне
и собирают вслепую.

Рождественское

Окраина империи моей,
приходит время выбирать царей,
и каждый новый царь – не лучше и не хуже.
Подшевеет воск, подорожает драп,
отгаёт в телевизоре сатрап,
такой, как ты – внутри,
такой, как я – снаружи.

Когда он говорит: на свете счастье есть,
он начинает это счастье – есть,
а дальше – многоточие хлопушек...
Ты за окном салют не выключай,
и память, словно краснодарский чай,
и тишина – варенье из лягушек.

По ком молчит рождественский звонарь?
России был и будет нужен царь,
который эту лавочку прикроет.
И ожидает тех, кто не умрёт:
пивной сарай, маршрутный звездолёт,
завод кирпичный имени «Pink Floyd».

Подраненное яблоко-ранет.
Кто возразит, что счастья в мире нет
и остановит женщину на склоне?

Хотел бы написать: на склоне лет,
но, это холм, но это – снег и свет,
и это Бог ворочается в лоне.

2009

«Отгремели русские глаголы...»

Отгремели русские глаголы,
стихли украинские дожди,
лужи в этикетках кока-колы,
перебрался в Минск Салман Рушди.

Мы опять в осаде и опале,
на краю одной шестой земли,
там, где мы самих себя спасали,
вешали, расстреливали, жгли.

И с похмелья каялись устало,
уходили в землю про запас,
Родина о нас совсем не знала,
потому и не любила нас.

Потому, что хамское, блатное —
оказалось ближе и родней,
потому, что мы совсем другое
называли Родиной своей.

«Звенит карманная медь, поет вода из трахей...»

Звенит карманная медь, поет вода из трахей:
а если родина – смерть, а если Дракула – гей?
Зажги лампаду в саду, в чужом вишневом саду,
в каком не помня году проснись на полном ходу,

и раб детей – Винни-Пух и князь жуков – короед
тебя проверят на слух, затем – укутают в плед:
сиди себе и смотри, качаясь в кресле-кача,
на этот сад изнутри, где вишню ест алыча,

когда в лампаде огонь свернется, как эмбрион,
цветком раскроется конь, а с чем рифмуется он?
Не то, чтоб жизнь коротка, но, от звонка до звонка,
ты – часть ее поводка, ты – яд с ее коготка.

Обыск

Зафыркают ночные фуры,
почуяв горькое на дне:
архангел из прокуратуры
приходит с обыском ко мне.

Печаль во взгляде волооком,
уста – холодны и сухи:
ты кинул всех в краю далеком
на дурь, на бабки, на стихи.

А что ответить мне, в натуре,
счастливейшему из лохов,
что – больше нет ни сна, ни дури,
ни баб, ни денег, ни стихов.

Лишь память розовою глиной,
лишь ручеек свинцовый вплавь,
и пахнут явкою с повинной:
мой сон и явь, мой сон и явь.

Один, все остальные – в доле,
поют и делят барыши,
не зарекайся жить на воле —
садись, пиши.

«С молодых ногтей был увлечен игрой...»

С молодых ногтей был увлечен игрой:
давя прыщи, я раздавил не глядя —
пасхальное яйцо с кощеевой иглой,
скажи-ка, дядя,

не даром я бродил во тьме береговой,
где по усам текло и по волнам бежало,
как хрустнуло столетье под ногой —
смертельное, ржавеющее жало.

И объяснил мне комендант Першко,
цветную скорлупу в карманы собирая,
что у войны – не женское ушко,
что есть игла вторая —

в нее продета ариадны нить,
и можно вышивать на полотне лимана:
убитых – крестиком, а кто остался жить —
спокойной гладью правды и обмана.

Часть гобелена, гвоздь картины всей —
горит маяк, но светит мимо, мимо,
и счастлив я, как минотавр Тесей,

как губернатор Крыма.

«Бегут в Европу черные ходоки...»

Бегут в Европу черные ходоки,
плывут в Европу черные ходоки,
а их встречают белые мудаки —
свиных колбасок мерзкие едоки.

Вокзал вонзит неоновые клыки —
и потекут из яремной вены:
вода, одежда, памперсы, сухпайки,
цветы и средства для гигиены.

У белых женщин бедра, как верстаки,
у белых женщин слабые мужики,
но всё исправят черные ходоки,
спасут Европу черные ходоки.

В Берлине снег, внизу продается скотч,
сосед за стенкой меня не слышит:
зачем он пьет по-черному третью ночь,
а может быть, он набело что-то пишет.

К примеру: «...больше нет ничего,
остался дом и дряхлое, злое тело,
и только смерть ползет змеей для того,
чтоб жизнь моя над высоким огнем летела...»

«Человек засиделся в гостях...»

Человек засиделся в гостях,
среди немых, среди глухих и незрячих,
человек – это храм на костях:
осетровых, свиных, индюшачих.

Это злое тамбовское бро —
подставлять беззащитный затылок,
и душа у него – серебро
из украденных ложек и вилок.

Но, когда он проснется вчера,
саблезубую память раззявив,
посреди доброты и добра,
в окружении мертвых хозяев.

Спасение

Пассажиры выходили из самолета:

у мужчин в подмышках – черные розы пота,
а у женщин на джинсах и платьях, в области паха —
подсыхали лилии ужаса и хризантемы страха.

В разноцветной блевотине, по надувному трапу —
заскользили они, вспоминая маму и папу,
отводя глаза друг от друга, и все-таки, от стыда
всех очистили сперма, бурбон, табак и вода.

Как прекрасны они: инженеры, айтишники,
домохозяйки,
ветераны АТО, секретарши и прочие зайки,
лишь один среди них – подлец, хирург-костоправ,
он сидит в слезах, на траве, у самой взлетной лужайки,
бормоча: «Сексом смерть поправ, сексом смерть
поправ...»

Открытка

А вот кофе у них дерьмо, – говорил пожилой монгол,
да и вся земля – это будущие окопы,
и любовь у них безголова, как богомол,
мысли – белые, помыслы – черножопы.

То ли наша степь: полынь, солончак с икрой,
где парят над подсолнухами дельфины,
хорошо, что я – поэт не первый, поэт – второй,
хорошо, что я – зависим от Украины.

Как бессмысленна в здешних краях зима:
бадминтон снегов и набитый солью воланчик,
а вот мясо у них – ништяк, шаганэ моя, шаурма,
сердце – ядерный чемоданчик.

А когда меня проклянут на родной земле,
ибо всякий прав, кто на русский язык клеветает,
надвигается осень, желтеет листва в столе,
передай, чтобы выслали деньги и теплые вещи.

«За окном троллейбуса темно...»

За окном троллейбуса темно,
так темно, что повторяешь снова:
за окном троллейбуса окно
черного автобуса ночного.

Как живешь, душа моя, Низги,
до сих пор тебе не надоело:
мужу компостировать мозги,
солидоллом смазывая тело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.